ФАБРИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (мужская версия)

Документальная пьеса в шести монологах[[1]](#footnote-1)

Действующие лица:

Александр, 1921 г.р., помощник мастера

Альберт, 1938 г.р., ретушёр

Николай, 1941 г.р., журналист

Вячеслав, 1948 г.р., начальник цеха

Михаил, 1950 г.р., рабочий

Евгений, 1951 г.р., следователь

**АЛЕКСАНДР: что значит разведчик**

Призвали, значит, меня вскоре после Победы. Отправили в учебные лагеря. Туда нас нагнали много – около двадцати тысяч первозванцев. Почти друг на дружке спали, щели не было. Встанешь ночью в туалет, потом уже на это место не ляжешь. Был у меня мешочек с сухариками, мы их делили с приятелем из моей деревни. Пробыли там где-то около месяца.

И вдруг приезжает лейтенант флотский, моряк. Значит, всех выстроили. Встал он перед нами: "Нда, ну и солдат нынче пошёл, хиленький, слабенький".

А мы все маленькие, щупленькие. Дома-то жрать тоже нечего было. Ну, что же делать, стал выбирать из того, что есть. Строго смотрел. У кого там пальчик порезанный или что – уже всё, негоден.

Отобрал, наверное, человек 300 или 400. Повезли нас на вокзал. А зима уже, холод. Одеты мы, кто во что. У меня, помню, шапка была чья-то чужая, военная. Порвана вот здесь, вата торчит. Идёт мимо женщина с мальчишкой. Он ей и говорит: "Мам, фрицы-то какие жалкие!"

Погрузили нас на открытые платформы, повезли. Никаких тебе вагонов. Подзамёрзли, конечно, но ничего. Потом в Ленинград, к этому, к Финскому заливу. Погнали нас по льду в Кронштадт. Друг от дружки на два метра. Иначе лёд может рухнуть. Помню, мы уже в Кронштадте, а последние только из вагонов вылезают.

Ну, в казарме раздели догола, как обычно. И бегаешь по зданию от врача к врачу. Что-то смотрят, годен-не годен, туда-сюда.

Меня взяли в радиоразведку. Потому что у меня образование всё-таки было 8 классов, у остальных-то – 5-6 классов почти у всех.

Я отучился 6 месяцев на разведчика. Что значит разведчик, вы, наверное, знаете. Изучал японский и эти коды всевозможные, латынь. Что передается по компьютеру... по телевидению… по... Что это я, стал стар. Знал международный код, семь лет служил во флоте, бывал за границей.

Демобилизовался я в 53-м году, приехал в село Боговарово к сестре. И вскоре туда прислали учителей. Их отправляли в деревню работать на три года. Была там одна женщина – Людмила, математик. И я женился.

Потом мы переехали к ней. В Ярославле сначала оформлялся в КГБ как разведчик, но потом что-то мне не понравилось, и я не пошёл. Меня взяли помощником мастера ткацкого цеха на комбинат «Красный Перекоп».

Тёща меня невзлюбила. Ей хотелось для такой дочери какого-нибудь генерала. А я деревенский лапоть. И сама тёща тоже шибко грамотная была, работала до революции у самого хозяина фабрики секретарём.

Но Людмила была строгая, семейная. Сказала ей: "Мама, не твоё дело. Я вышла замуж и буду жить с мужем".

Но я очень доволен, что тёща меня держала в ежовых рукавицах. Молодец, правильно делала. Я и пить не пил, как все, и гулять не гулял. Хотя у меня знакомых было в трёх цехах, и в основном женщины. Всяко бывало на работе. Какую погладишь, какую поругаешь, какую чего. Ну, не обижались.

Я, значит, с народом сработался. Поммастера пьянствовали во время работы. Жизнь была довольно кропотливой, тяжёлой.

Помню, прихожу в цех, и мне говорят: вчера мастера напились пьяные. Три женщины, хорошие такие, а вот ведь. Напились, а кто напоил – неизвестно. Я дождался, пока пришли на работу мужики – поммастера, таскальщики, подсобные рабочие. Пригнал всех в кабинет к начальнице, чтоб авторитетнее было. «Ну, говорю, кто зачинщик? Если скажете, никому ничего не будет». Сидят, молчат. «Ладно, говорю, пора вам на работу. А ты, Станислав, иди в профсоюз, бери свою трудовую книжку. Ты с сегодняшнего дня не работаешь». А этот Станислав был здоровый такой мужчина, в корпусе жил. Он мне: «Сан Николаич...» Я говорю: «Всё, закончили. Остальные идите работать. Ещё кто попадётся, судить будем».

Дня через четыре я этого Станислава встречаю у Лабаза. Ну, думаю, поколотит меня сейчас. А он мне: «Сан Николаич, ты как же угадал? Ведь зачинщиком-то был я». Тогда, говорю, я позвоню председателю профсоюза, пускай примут тебя обратно. Иди, работай. А пей дома. Всё, с тех пор тишина стала, дисциплина. Научились не пить на работе. Ой, интересно бывало.

По-моему, каждый трудоспособный должен трудиться честно, добросовестно, без всяких блат. Должен работать, тогда будет всё в порядке. Ведь всякие, знаете, рабочие бывают, всякие.

**АЛЬБЕРТ: её короткая жизнь**

Я очень мать любил. Когда она умерла, говорил, что побегу, под поезд брошусь. Елена Платоновна, вот её короткая жизнь: война, тюрьма, муж в тюрьме, тяжёлая болезнь и кончина. И всё. Могила её под окном у нас, на Донском кладбище, она обихожена.   
Мать и до войны, и всю войну работала. Есть у меня воспоминание, как я ей хлеб приносил. Пришёл, стою у проходной. Меня вахтёр увидел и посадил к батарее. Сижу у батареи, а фабрика шумит. Сидел, сидел, матери всё нет. И пошёл уже обратно, а тут она как раз бежит.

За хлебом мы стояли – целый коридор очереди. Получали сразу на троих. Мать пока на работе, пока Ирки нет, я раз – отрежу кусочек. Меня нет – Ирка тоже отрежет. А потом мать придёт и делит остатки на троих. «Нас кормили на фабрике», говорит.

Войну мы встретили, когда мне исполнилось 2,5 года. Мы замерзали голодные, стены у нас были в инее изнутри. Стоял калорифер внизу: топит труба, греется воздух и по всем каморкам идёт. Но пока дойдёт до 4 этажа, там один только холод дует и дым из этого калорифера. В корпусе были две общие кухни. Мы там грелись.

Отца контузило в 1942 году. И, проезжая с лечения на передовую, он заехал к нам. Мне привёз духовое ружьё, оно стреляло.   
У нас как раз все кастрюли украли, остался один горшок из-под цветов. Дырочку мы заклеили, и в нём готовили. И я почему так хорошо запомнил-то – я из этого ружья по горшку стрельнул – и всё, варить не в чем. Это и смешно, и холодно.  
Ещё помню, к соседям приехал с фронта танкист в форме. Высокий, здоровый. А такая нищета была, я заходил, просил очистки у них. Они брали очистки для скота, мыли, сушили и ели. И вот я опять прихожу: «Тёть Варь, дайте очисток поесть». А они горькие… Танкист посмотрел на это и прямо с гранатой пошёл в обком. Говорит: «Мы там воюем, убиваемся, здесь у меня трое детей, а вы…». Их обеспечили на время, он ушёл на фронт и погиб.

После войны тоже были страдания, всякие лишения. И мать с фабрики одну тряпку украла – материал. Поймали, конечно. Она была неграмотная и подписала документы, где говорилось, что она занималась этим «систематически». А мать не знала, что ей там понаписали. И в итоге она села, отец остался с нами.

Потом однажды возвращаюсь домой, сестра прибирается в каморке. «Что такое?» – «Приходили, отца забрали».

Он рассказывал, как их содержали в подвалах КГБ. Всё с них там сняли – ремни, шнурки. Но отец рассказывал об этом с юмором даже. А мы здесь на воле приняли столько оскорблений. Меня тюремщиком звали.

Помню, у корпуса летом стрижи летали, пищали. Там ниши были, где они жили. Мы их видели, как они выглядывают, маленькие-то. Когда делали ремонт, не было никаких обоев, а придут, побелку валиком накатают – и всё. У нас в каморке даже розетки не было. Висела 25 ватт лампочка и всё. Отец не мог придумать, что надо на патрон её посадить, чтобы и лампочку, и плитку включать. И вот что-то жарить на плитке – свет гаснет, и темно, только эту плитку и видно. Потом появился электрик, у него имя было поэтическое – Пушкин. И он сделал нам патрон и провод на плитку.

Ни телевизора, ничего не было, радио только. В углу у нас динамик стоял на ножках, круглый металлический. И вот Хор Пятницкого поёт, а я не понимаю: где же они? Думал, что под приёмником – сейчас открою, а они там все маленькие на сцене стоят.

**НИКОЛАЙ: мальчик с Чёртовой лапы**

Я вырос на так называемой Чёртовой Лапе – улица Пестеля, если официально. Чёртова Лапа строилась переселенцами из затопленной Мологи. И поскольку народ был бедный, то они строили мазанки. Четыре столба, между ними какие-то переплетения, и всё это обмазывали глиной с двух сторон. Прямо скажем, жилища так себе.

А мы-то с матерью вообще угол снимали, у нас не было своей мазанки даже. У нас была только кровать, а всё имущество и её, и моё помещалось в чемодане под кроватью. И на кухне маленький столик, там сковородка, миска какая-то.

У хозяев даже тарелочки громкоговорителя не было. И я сам собрал в 6-м классе приёмник детекторный. В магазине учебных пособий купил «Сирену» – это типа соли крупной. Катушку индукционную, и вот надо было её иголочкой. В общем, антенну протянул на крыше. Купил наушники, а как слушать с наушников всем? Там были и хозяйка, и её сын Генка, и я, и моя мать. Я наушник в стакан поставил. А там концерт шёл из Москвы. И вот эта вологодская тёмная бабёнка, хозяйка наша, сидела и всё вздыхала: «Как хорошо». Она впервые радио услышала через детекторный приёмник.

Мать работала на фабрике тростильщицей. Из ровницы делала нитку. У неё такой крючок был, она и меня научила им вязать. Приходил к ней, помогал. Мать ушла на пенсию рано, у неё профессиональное заболевание текстильщиков — эмфизема лёгких. Пыль стояла на комбинате жуткая.

Мать я и не видел практически. Мы все безотцовщиной росли. А матерям только с работы прийти и нас накормить, да штаны какие-никакие надеть, чтоб не с голым задом в школу шли. И всё. На большее у них ни сил, ни времени не хватало. Мать у меня ни разу тетради не проверяла.

Раньше была мода, что если учитель хочет родителя вызвать, то отбирали сумку и говорили, пусть мать придёт за сумкой. И у меня отобрали, не помню за что. Дома мать спрашивает: «Ты чего уроки не делаешь?» Я говорю: «А у меня сумку отобрали, просили тебя прийти». «Сейчас побежала, ты хулиганишь, а я буду ходить за сумкой?».И не пошла. Я пришёл в школу. «А где мать?» – «Она говорит, буду я ходить за твоей сумкой». Через два дня отдали мне сумку и больше не отбирали.

Они были очень затюканные, матери наши. Конечно, они не женщины. Не было у них жизни практически. До войны кое-как, в работницах, потом война на их плечах. После войны, не все сейчас знают, 1946-й, 1947-й годы голод был сильнее, чем в войну саму. Неурожай был, хлеб сгорел. Они вырастили нас, но своей личной жизни уже не создали, так и остались вдовами.

После 9 класса я пошёл работать, потому что материально очень тяжело было. Пришёл на комбинат прямо к директору, тогда можно было легко попасть к директору. Он сказал: «У меня мест нет для таких маленьких». В то время был закон, что с 14 до 16 лет работать можно только 4 часа, а платить надо как за 8 часов. Кому такой работник нужен?

Я тогда закричал, что у меня отец погиб за моё счастье, а мне даже работы нет. Был молодой, нахальный. Ещё руки подмышки так важно сложил. Директор вызвал начальника отдела кадров и говорит: «Устрой его, только с глаз моих убери».

И меня устроили территорию мести, мусор убирать. А «Перекоп» — одни девчонки! И вот я такой раскудрявый, 16 лет, тут с метлой пашу. Они идут, хихикают! Терпел, потому что деньги были нужны.

А потом мать включили в застройщики, и я ушёл вместе с ней на стройку. И мы стали строить улицу Закгейма. Ходили с линейкой и меряли. Первые пять домов лепили без балконов, безо всего. Мы говорили: гробовой проект. Потому что прихожие делались такие, что гроб не вынести, нужно было покойника стоя выносить. За работу на стройке мы с матерью получили квартиру в одном из этих домов. Туалет не на улице, и вода есть. И плита четырёхконфорочная с дровами. К маме приходили подружки: «Какая ты счастливая».

С нашей улицы Пестеля я был единственным, кто закончил 10 классов. 10 класс я заканчивал в школе рабочей молодежи. «ШаРеМе, ты моя, ШаРеМе!». На стройке работал, целый день на холоде, на морозе. В школу приду, там батареи ещё старые, круглые такие. У окошка сяду и засну. И сквозь сон слышу: «Пускай спит, не будите». Но закончил я эту ШаРеМе и поступил в пединститут на историко-филологический факультет.

С 4-го курса уехал учителем в деревню. И честно три года там отработал. Только когда деньги получал, приезжал, матери отдавал и опять уезжал. Жил там у стариков Казанских, светлая им память. Отработал, и друзья мне место предложили в газете. А я ещё с 1-го курса активно публиковался. Мой очерк о Закгейме напечатали в сборнике «Лидеры ленинской гвардии». Ещё работал на кафедре, читал «Историю КПСС». Очень мутный курс, скажу я вам. Но другого не было, я и вёл.

А потом я ушёл в тюремную газету. У меня зарплата была 110 рублей, а там 130. По тем временам прибавка 20 рублей серьёзная, вот я и ушёл. Ну, конечно, работа такая. Вначале интересно, я видел жизнь заключённых изнутри, а не в кино. Но за год поднадоело, одно и то же всегда.

Я выезжал в командировку в какую-нибудь колонию, шёл к начальнику оперчасти – *куму* на их жаргоне – и говорил: «Приехал за материалами». Он говорил: «Сейчас устроим». Нажимал кнопку, приходил командир, из заключённых, это называлось «председатель совета коллектива». Кум говорил ему: «Тут товарищ из газеты, ему нужно заметок штук 20. К завтрашнему чтоб были». Заметки бывали двух типов: хорошие заключённые клеймили плохих, плохие заключённые хвалили хороших.

Когда Терешкова приехала, народу собралось на неё посмотреть. Вся улица от комбината была забита людьми. А её хитро провезли на катере, с той стороны Которосли высадили. Сказали, что она уже на комбинате. Тьфу!

А я с Терешковой встречался до этого. Я в народной дружине был, отправились мы в парк ночью. И она была старшей в нашей пятёрке, Валя Терешкова. А там на заставе картёжники играли в карты, и она у них карты отняла. Очень решительная девка. Пошла прямо на них: «Ну-ка дай-ка!». А они на неё. А она говорит: «Я сейчас вас посажу всех».

Мать моя хорошо её знала. Говорила: «Скромная очень девушка, придёт в уборную с краешку сядет, мы курим там, а она сядет с краешку посидит, уйдёт». Она ходила в халате, тогда все девочки ходили в таких ситцевых халатах тёмных.

Отдыхали раньше лучше, чем сейчас. Во-первых, не было телевизоров, радиоприемников, даже проигрывателей. Патефоны-то редко у кого были. Дома мы мало сидели. Пока пацаньё, в футбол, в основном, зимой всякие там окопы рыли, в войну играли, в снежки. Подрос — куда-то уходил всё время. Танцы я очень любил, хотя вроде не очень такой по фигуре танцевальный, но любил.

Зимой заливали стадион, в центре лёд, а при входе была вытоптана большая площадка, через громкоговорители играла музыка. И мы танцевали! В валенках, в шапках, в пальто. Сейчас вспоминаю, самому смешно.

Ходили на демонстрацию по Большой Фёдоровской. Там не было каменных зданий практически ни одного. Все дома одноэтажные и деревянные. И это главная улица! Её стали более-менее приводить в порядок, когда трамвай немцы подарили Терешковой. Хотели ещё переименовать в «проспект Терешковой».

В церкви Петра и Павла был художественный кружок. Вёл занятия художник. У него была мастерская, большая комната. К восьми утра мы приходили зимой. Он нас сперва не пускал. И, знаете, почему? Он, когда включал свет, пол был серый. Это было море крыс! И этот шерстяной ковёр сметался, когда включали свет.

Всё делалось для рабочих, чтобы отвлечь их от пьянства. И пили гораздо меньше. В Рабочем саду торговали водкой и пивом. Но норму давали для взрослых — стакан водки и кружка пива. И всё. Ходили не то что пьяные, но навеселе.

А когда Горбачев сухой закон ввёл, у нас на улице каждый третий с ног валился. Особенно после получки идёшь — все качаются.

Народ был очень коллективный, сплочённый. У нас не то, что подъезды, квартиры не запирались. Ты идёшь: «мне надо» — открываешь дверь и заходишь, всё. Настолько все были дружны.

Бабёнки могли, конечно, поскандалить, женщины натуры тонкие, могли и до драки дойти, накостылять за пустяк. Но случись беда какая — все бегут: чем помочь? Такой народ отзывчивый, добрый. Вспыльчивый, но отходчивый.

Ну, были и шпана, и воры, понятно. Но это единицы. А простой народ очень дружелюбный, откровенный. Лепят всё в глаза, не задумываясь о последствиях.

**ВЯЧЕСЛАВ: ногами не били**

Вот дом-то, представляете, у меня он весь в памяти. Шестьдесят восемь каморок, общий коридор, общая печка. Здоровенная такая, высокая, восемь конфорок. И готовили, и бельё там сушили, и детей мыли зимой. Кухня большая, столы общие для готовки.

Жили, можно сказать, коммуной. Были свои деньги, домком свой. Деньги откуда брали? Стояли у нас две *окорёнки*, бочки такие, в них отходы пищевые собирали. Потом частники их забирали, раньше ведь многие держали и поросят, и кур. И нам за эти отходы какие-то деньги приплачивали. Эти деньги копили и покупали, например, свой патефон, общий на весь дом.

Новый год весело отмечали. Сначала расходятся все по своим каморкам. Там Новый год встретят, а потом в полпервого выходит Боря с баяном, патефон ставят. И танцы часов до четырёх. А к реке у нас была горка сделана, специально заливали. И вот часов в пять утра пойдут кататься с горки. Ну, выпивши все, взрослые-то, и мы с ними тут тоже, дети-то…

Мы со двора не выходили. Игр было всяких: и вышибалы, и расшибалка, и в пристенок. То в шахматы, то в лото. А в лото зимой и взрослые играли поголовно. На «концах» – так назвались площадки на первом этаже. Вот там садились. Газету постелят, чтоб карты не пачкать. И начинают. Кричит, кто за кон: «В котёл!». На верхней карте кончил – все добавляют, ты – нет, среднюю кончил – берёшь половину, остальные все добавляют. Кончил – весь котёл забираешь. Тоже были там свои профессионалы, кричали громко.

«Расшибалка» весной начиналась. Когда снег стает, находили сухое место, где земля просохла, и это… На деньги играли, милиция запрещала. Бывало, нагрянет, разгонит.

В «шары» только зимой играли. В валенках. Специально точили шары, у меня был из берёзы карельской. Их красили. Кто-то из текстолита точил, чтоб тяжёлый был.

Перед игрой договариваются, по сколько ставят. По рублю или по десять копеек. Мы на картинки играли пацанами, картинки копили. Первый запинывает шар, потом второй своим шаром бьёт по первому. Не попал – его шар остаётся на поле и третий бьёт. Если попал, то берёшь рубль или картинку. Милиция тоже запрещала, шары отбирала. Потому что на деньги нельзя было играть.

Одному у нас кличку дали «Нужда», потому что ему всё не так было. А ещё один был, ему что ни скажи – он всё поперёк. Вот даже знает, что не прав, но ему всё равно надо поперёк сказать. Ему кличку «Поперечный» дали. Так и говорили: «Иди к Вове Поперечному».

Всё время были стычки. И вот соберутся ребята, целая котла. И идут, например, на Полянки, разбираться с поляновскими. Мы-то, помладше, идём тоже, за компанию. Ну, какие там разборки. Выйдут двое, подерутся, кто кого уронит первый. Ногами не били никогда. Уронил, разбил ему что-нито, разошлись, поорали, бывало, камнями покидали – и всё.

Такие сплоченные были, дружные. Потому что жили как бы в коммуне, друг про друга всё знали. Условия-то, конечно, те ещё – шесть на три каморка, кухня общая. Но жили. Все одинаково. Главное – дружба была.

**МИХАИЛ: мясилово и арбузы**

Праздник зимой, Масленица. Старший брат приходит – морда разбита, руки разбиты. «А! Сёдня подрались!» Дрались фабричные с центровскими. На Которосли, на льду. Это была традиция, с до революции ещё. С городскими-то мы автоматически, на танцах дрались. Ну, кто-то кого-то задел, кто-то чего-то, и понеслось!

Это 9-й класс, по-моему, был. В школу пришли ребятишки: «Завтра Пятёрка приезжает, будем драться! Чтобы были!» – «Конечно, а как же». И вот на Комсомольской площади собрались все. Пришли – никого нету. Трамваи едут, проезжают. «А кто ж драться-то будет?» – «Ну, ещё рановато, пойдём на Которосль». Приходим, а там – народу! Молодёжь, да и не только. Сидят, наливают, ждут Пятёрку. Они обещали приехать на трамваях. Но не приехали. И хорошо, потому что мясилово было бы. Оказывается, их ментовка сняла с трамваев. Ведь все про всё знали! Каждого вора и бандита знали в лицо. Никаких секретов.

Каждый корпус воевал с другими корпусами. Это обязательно! Маленькие что-нибудь натворят, поспорят из-за какого-нибудь червячка, потом выбегают постарше братья. Потом уже взрослые выходят, начинают друг на друга катить.

Железная дорога рядом с нами проходила. Мотовоз там ездил, возил хлопковые кипы. Поршневой двигатель у него был, не паровоз. Мимо прачечной колея шла. Привозили, помню, арбузы. Старшие пацаны устраивались их разгружать, а мы – на подхвате. Старший брат мне кидает арбуз, я его – под мышку, и ноги! Арбузов наелись! Там строгостей не было. Ну, 60 тонн вагон стоит – что там, пару арбузов пацаны утащат? С ними расплачивались тоже арбузами.

За Домом коллектива была Чёртова лапа. Туда ездил конный патруль милицейский. И мы вечером выходили на них смотреть. В шинелях, с шашками, на лошадях. Потом начали уже туда на мотоциклах ездить. А в район стрельбища гоняли в ночное лошадей. Машин-то было мало, и фабрика держала табун лошадей. И вот их в ночное гоняли мимо нас. Лошади отдыхают, пасутся. А то всё им таскать эти кипы!

**ЕВГЕНИЙ: спрятанные документы**

После 1870 года бабушка и дедушка приехали на Ярославскую Большую мануфактуру из Кинешмы. Дед, судя по всему, был из крестьян, хотя фамилия у него дворянская – Тырков. Говорили, будто бы отец изгнал его из дома, лишил наследства. Какая-то тёмная история. Бабушка – там вообще всё мраком покрыто. Поженились они, родился ребёнок. Семью надо было содержать – и они приехали сюда. Сняли мезонин в частном доме в Починках. Бабушка и дедушка работали ткачами. Детей у них много было, а выжило шестеро. Самая старшая из сестёр, была старше моей мамы на 20 лет.

Дед активно участвовал в стачечном движении. Перед забастовкой 1905 года был одним из создателей стачечного комитета, участвовал в организации стачки. Этим занималась партия эсеров и ещё какая-то, но не большевики.

Требования рабочих были экономические. Не нравились им штрафы. Причём штрафы ведь были не просто так, не как издевательство, а за прогул, за некачественную продукцию – за дело в общем. И от бабушки, и от её старшей дочери я слышал: до революции на фабрике работать было лучше.

Сама же демонстрация была расстреляна. Деда арестовала охранка по обвинению в покупке оружия. Дали ему 6 месяцев лишения свободы. Потом началась Первая мировая. Дед был призван рядовым. На фронте он сошёлся с большевиками. Но когда его спрашивали, в какой он партии, всегда отвечал: «А я и в той, и в другой». Потом ему эти разговоры вышли боком.

С фронта дед пришёл инвалидом. Работать долго не мог, где-то подрабатывал. Потом всё-таки вернулся на фабрику. Бабушка к тому времени тоже стала инвалидом. Много детей рожали, и, скорее всего, не работа довела её до инвалидности, а вот этот образ жизни, когда света белого не видишь.

Что до стачечного комитета, то он оказался достаточно дружным. В советские времена между ними связи сохранялись. В 1930 году деда вызвали на допрос, и обвинили, что он состоял в партии эсеров. После этого допроса дед умер от кровоизлияния в мозг. А к бабушке пришли его товарищи по стачечному комитету и предупредили, что скоро в дом придут с обыском, надо уничтожить все документы. У деда переписка была с Аллилуевыми, с Емельяном Ярославским, много с кем из большевиков известных. Бабушка всё это успела сжечь. И семью оставили в покое.

Мама моя, Софья Павловна, устроилась на комбинат во время войны, лет 16 ей было. Комбинат часто бомбили. Но, мама говорила, ни разу не разбомбили, потому что зенитки стояли на всех фабричных башнях.

Помню случай, я взрослый был уже, кабель проводили и нашли неразорвавшуюся фугасную бомбу большую. Во время войны вошла в землю, там и осталась. Естественно, эвакуировали всех рабочих. И её с большим почётом военные сапёры извлекли, вывезли и взорвали за городом.

Мамина старшая сестра во время войны была заброшена диверсионным отрядом на вражескую территорию как радистка. Попала в плен, в концлагерь. После освобождения тут же очутилась в нашем лагере – за то, что сидела в том. И до конца жизни она билась, чтобы доказать: она раненой попала в плен, против страны ничего не делала, фашистам не служила. Ей удалось собрать все эти документы, и за несколько лет до смерти её реабилитировали.

Отец мой, Александр Павлович, 1922 года рождения. Война началась – ему ещё не исполнилось 19. Был ранен под Сталинградом, участвовал в боях на Курской дуге. Воевал в Западной Украине. Когда она была освобождена от фашистов, там внутри продолжалась настоящая бойня с регулярными соединениями бандеровцев. Там отец провоевал до окончания войны.

В 1946-м ему выдали направление в военное училище. Начальник училища посмотрел его документы и говорит: «Прикрой-ка дверь. Знаешь что, спрячь эти документы, мальчик, и езжай туда, где тебя никто не знает. Документы никому не показывай, иначе окажешься там же, где твой отец».

А его отец с 1938 года валил лес по 58-й статье. Дед был из крестьянской семьи, с юга Пензенской области. Большое село, 500 домов, церковь, школа. Раскулачены они не были, считались середняками. Но дед любил выступать и за словом в карман не лез. Ну и покритиковал что-то в совхозе. Его забрали, а семья стала голодать. Умирали дети один за другим. Отец мой последним оставался, уже не вставал. Родственники узнали, привезли еду. Отец выжил, но так и не вырос, остался на всю жизнь маленького роста.

**ХОР: кропотливая жизнь**

Почти друг на дружке спали

Могила её под окном у нас

Вологодская тёмная бабёнка

В пять утра пойдут кататься с горки

Морда разбита, руки разбиты

Вообще всё мраком покрыто

Дома-то жрать тоже нечего

Стены были в инее изнутри

Чтоб не с голым задом в школу шли

Профессионалы, кричали громко

Их ментовка сняла с трамваев

Света белого не видишь

Фрицы-то какие жалкие

У нас как раз все кастрюли украли

Конечно, они не женщины

На деньги нельзя было играть

Поспорят из-за какого-нибудь червячка

Бабушка всё успела сжечь

В казарме раздели догола, как обычно

Прямо с гранатой пошёл в обком

Такой раскудрявый с метлой пашу

Расплачивались тоже арбузами

Фашистам не служила

А я деревенский лапоть

Танцевали в валенках

Спрячь эти документы, мальчик

Накостылять могли за пустяк

Выжил, но не вырос

Жизнь была довольно кропотливой

1. Пьеса основана на интервью с работниками фабрики «Красный Перекоп» (Ярославль) и их потомками, взятых в рамках проекта «Фабричный круг» [↑](#footnote-ref-1)